

Звезда

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ
ЖУРНАЛ**

**Издается
с января
1924
года**

1997(6)

Санкт-Петербург

ПЕТР ВАЙЛЬ

АБРАМ ТЕРЦ, РУССКИЙ ФЛИБУСТЬЕР

На левом глазу Андрея Донатовича Синявского была черная повязка. Одна тесемка уходила под ухо, другая — в волосы, седые и жидкие. На плотном кругляше, закрывавшем глаз, белой тушью — череп и кости.

— Вот мы теперь какие, — сказала Марья Васильевна.

Синявский лежал аккуратный-аккуратный, в голубой полосатой рубашке, застегнутой под горло, без галстука, задрав бороду, вытянув руки по швам, уютно вписанный в тесную трапецию гроба. Никогда я не видал таких благостных покойников.

Вообще видал я их немного, если не считать Чечни. В Чечне все они выглядели плохо, что понятно, но и другие памятные мало были похожи на себя — Венедикт Ерофеев в мае 90-го в Москве, Сергей Довлатов в августе 90-го в Нью-Йорке, Иосиф Бродский в январе 96-го в Нью-Йорке. А Синявский в феврале 97-го в Париже смотрел классическим праведником — «как будто заснул».

— Вот мы теперь какие, — сказала Марья Васильевна. — Такой же, только холодный очень.

В Париж я прилетел за день до похорон, гулял по любимым кварталам шестого аррондисмана, а ближе к вечеру позвонил — уточнить время. «Если приедете прямо сейчас, гроб еще открыт, есть шанс увидеть Синявского, — сообщила вдова. — Да к тому же в виде пирата». Много лет зная Марью Васильевну, я сказал: «Да ну вас». Она вдруг возбудилась: «Почему это «да ну вас»? Когда умер Жерар Филип, его хоронили не в партикулярном платье, а в костюме Сида. Почему Синявский, который всю жизнь был флибустьером, не может лежать в гробу в виде пирата?» Холодея, я понял, что она не шутит, и поехал.

В подпарижском городке Фонтене-о-Роз я не был несколько лет, но дорогу нашел — вспомнив перекресток с алжирской забегаловкой «Колибри», где еще в самый первый приезд в 79-м ел с Синявскими кус-кус. В трехэтажном каменном доме на улице Бориса Вильде все было так же, но Марья Васильевна повела на второй этаж, где в окружении икон, книг, подсвечников в виде купчих, прялок стоял на подставках гроб. В гробу лежал Андрей Донатович с пиратской повязкой на глазу.

— Вот мы теперь какие.

Строго говоря, в повязке лежал Абрам Терц. Это он при жизни любил прохаживаться по комнатам, нацепив «Веселого Роджера», и именно это после смерти имела в виду его вдова, устраивая макабрический карнавал. Ведь 25 февраля 1997 года умер один человек, но два писателя — Андрей Синявский и Абрам Терц.

Давным-давно, в темные годы, литературовед и критик Андрей Синявский стал посылать на Запад свои сочинения под вызывающим, украденным у одесско-

Петр Львович Вайль (род. в 1949 г. в Риге) — эссеист, критик, автор изданных совместно с Александром Генисом книг «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «60-е. Мир советского человека» (1988, 2-е изд.: М., 1996), «Родная речь» (1980), «Американа» (М., 1991). Живет в Праге.

© Петр Вайль, 1997.

го бандита («Абрашка Терц, карманник всем известный») псевдонимом Абрам Терц. Потом был арест и знаменитый суд 66-го года, на котором литераторов — Андрея Синявского и Юлия Даниэля — судили за литературные произведения, даже не притворяясь, не позаботившись сочинить иных обвинений. С того суда и принято вести отсчет советского диссидентства как общественного явления. В известном смысле все мы — и кто за, и кто против, и кто вне, и кто после — вышли из этого процесса.

В Мордовии, в Дубровлаге, Андрей Синявский отсидел пять с половиной лет, а Абрам Терц, внедряя главы в письма к жене, написал в лагере книгу о самом свободном человеке российской истории — «Прогулки с Пушкиным». Великий поступок — сопрячь послания к любимой женщине и к любимому поэту.

Двадцать лет мы были знакомы с Андреем Донатовичем, я видал его в разных странах и ситуациях, и всегда тихоне Синявскому сопутствовал озорник Терц.

Впервые эту пару я увидел в 77-м на биеннале в Венеции, где литературовед Синявский выступал с докладом, а Абрам Терц так хулиганил в прениях, что переводчики только разводили руками. В 79-м в Колумбийском университете Нью-Йорка профессор Сорбонны Синявский читал лекцию о протопопе Аввакуме, а на улице стояли пикеты с протестами против Терца: «Стыд и срам, товарищ Абрам» и «Второй Дантес». В Москве в 95-м мы сидели рядом на киносимпозиуме, и в дискуссии о мелодраме Синявский неожиданно молодо и задорно прочел «Левый марш», провозгласив: «Вот это энергия! Не то что „Под черной вуалью“...» А Терц негромко прибавил: «...трахаться». В 94-м в Бостоне на неузнаваемого в смокинге Синявского надели мантию и шапочку почетного доктора Гарварда, а Терц, посмеиваясь и даже хохоча, сказал мне, показывая на другого свежего доктора: «Он был министром внутренних дел, когда я сидел в Дубровлаге».

Тогда в Бостоне состоялся самый долгий мой разговор с Андреем Донатовичем.

Знамена, плакаты, оркестры, хоры на ступеньках старинных зданий (Гарвард основан в 1636-м, на 119 лет раньше Московского университета), шесть тысяч выпускников в черных мантиях с разноцветными башлыками (у каждого факультета свои цвета), пестрые наряды 15-тысячной толпы гостей. Я разговорился со старым выпускником, который пожаловался, что из-за этого праздника каждый год пропускает лучший клев в своем Иллинойсе, пора кончать, никак не может решиться вот уже 63 года. Тут только я сообразил, что «28» на флажке в его руках означает год выпуска. Старейший же из присутствовавших гарвардцев был молчалив и задумчив — есть что вспомнить: он закончил университет в 1913-м. Тогда ему было двадцать два, теперь — сто.

В речах выпускников, профессоров, ректора шло состязание в остроумии, иногда даже по-латыни. Хохот стоял, как на концертах Боба Хоупа. Позже, когда мы собрались на коктейли и закуски, один из новых почетных докторов — виолончелист-суперзвезда Йо-Йо-Ма — сыграл «Сарабанду» Баха, сказав предварительно: «Вам придется это выслушать, чтоб вы не воображали, что здесь кормят бесплатно».

Карнавальность оборачивалась не только смешной и веселой, но и поучительной.

Мог ли предвидеть подобный разворот событий Андрей Синявский, получивший за писательство лагерный срок, а теперь — гарвардский докторат?

Карнавальные кувырки «из грязи в князи». Рядом сидел другой новоиспеченный доктор Гарварда — Эдуард Шеварднадзе. Особо опасный зэк и высокопоставленный блюститель закона теперь принимали равные почести. Самое удивительное заключалось в том, что это положение вещей выглядело нормой. Во всяком случае, соответствовало той картине мира, которую всю жизнь рисовал в своих книгах апостол фантастики, гиперболы и гротеска — Синявский-Терц.

Об этом мы и говорили уже после торжеств, в доме общих друзей в Бостоне.

— Андрей Донатович, вы уже давно живете иной, чем прежде, жизнью: известный писатель, старожил парижского пригорода Фонтене-о-Роз, профессор Сорбонны. Но все же соблазнительно спросить: представляли вы себе нечто подобное, когда сидели в мордовских лагерях, скажем, в Дубровлаге, где писались «Прогулки с Пушкиным»?

— Разумеется, нет, ничего похожего.

— Но об идее возмездия, торжества справедливости — думали?

— Я не люблю возмездия. Да и насчет справедливости и ее торжества — я не очень. То чувство, которое владело мной и сейчас владеет,

можно назвать верой в обратимость судьбы. И в относительность хорошего и дурного. Это, кстати, одна из главных мыслей Пушкина. Завтра грустное повернется на веселое, послезавтра — трагическое на смешное. Вот в силу привычки к контрастам я как бы допускал и такую возможность.

— То есть были готовы к любым метаморфозам?

— Ну, если говорить по большому счету, то когда в лагере находишься, там надо быть готовым и... ну, к смерти... Никогда ведь не знаешь, что будет завтра или через год. Человеческая судьба — я ее воспринимаю как нечто художественное. Как то, что проделывает зигзаги, витки, порою никак от человека не зависит.

— Но вот чисто по-детски — знаете, когда ребенок, ложась спать, воображает, что станет летчиком, — как вы двадцать лет назад представляли свою жизнь в дальнейшем?

— Я допускал, что все обойдется, отсижу свой срок, выйду. Но для меня было ясно, что как литератор я конченный человек. Второго Абрама Терца сыграть не смогу, потому что буду находиться под жестким присмотром. Я ведь не знал, что станет возможна эмиграция, например.

— Это рассуждения рациональные, а мечты ведь остаются. Неужели вы не мечтали, что ваши книги будут изданы?

— Понимаете, это, наверное, от мнительности, но любое будущее я представляю в наихудших вариантах. Просто для того, чтобы быть готовым и не слишком заноситься в мечтах, потому что мечты чаще всего обманывают.

— Это у вас не насильственно происходит, вы себя не заставляете? Строй души такой?

— Наверное, строй души. Да и судьба такая. Когда я начинал писать, я знал, и жене говорил, что меня рано или поздно посадят, и я иду на это, потому что мне важнее попробовать такой путь. Конечно, лучше подольше прожить и побольше сделать интересного. Но обольщаться... Я старался не обольщаться.

В церкви на Свято-Сергиевом подворье, рю Крима, 93, гроб стоял закрытым. Пиратская повязка была под крышкой, но дух Терца витал. Стоявшая рядом со мной журналистка со свечой в руке скорбно склонила голову чуть ниже допустимого. Пышные курчавые волосы вспыхнули сразу. Публика шарахнулась. Муж журналистки стал бить ее по голове. Служба под расписными прялочными сводами не прерывалась. Пахло паленым.

Народу в церкви собралось меньше, чем я ожидал. Однако такой ход дела был заложен сознательно и давно. Синявский как-то сказал: «Я вообще враг. Враг как таковой. Метафизически, изначально. Не то чтобы я сперва был кому-то другом, а потом стал врагом. Я вообще никому не друг, а только — враг...» Он указал свое место в обществе, а именно — отсутствие места в обществе. Об этом его рассказ о прищельце, его лучший рассказ — «Пхенц», в котором запрограммирована авторская судьба: «Если просто другой, так уж сразу ругаться?»

Он был диссидент не в узко-политическом, а в широко-мировоззренческом смысле слова. Всегда раздражающе против, всегда наглядно одинок. Так было при жизни, так же — в смерти. Синявский не захотел быть со всеми. Это раз. И два — что более важно: он не хотел быть с теми, кто отвергал и травил его. Уникальность Синявского в том, что резкие и дерзкие книги навлекли на него и кары советской власти, и ругань постсоветской России, а в промежутке — неприятие и злобу антисоветской эмиграции.

Отпевание шло не в известном всем и каждому главном православном соборе Парижа — Александра Невского на рю Дарю, а в небольшом деревянном храме на северной окраине города. И похоронили Синявского не на Сен-Женевьев-де-Буа, где покоятся деятели русского зарубежья, включая знаменитостей — от Бунина, Тэффи и Мережковского до Галича, Тарковского и Нуреева — и где по рангу лежать бы Андрею Донатовичу, а на муниципальном кладбище городка Фонтене-о-Роз. Синявский предпочел соотечественникам — соседей. Улегся на скромном французском кладбище скромного французского городка.

— Андрей Донатович, вам удастся сейчас смотреть на себя глазами лагерника?

— Удастся. Лагерь вспоминается часто. И когда я теперь встречаюсь с лагерными товарищами, близкие удивляются: мы все время смеемся. А вспоминаем ситуации не всегда забавные, порою жутковатые, но нам это интересно как бы. Кроме того, я довольно часто вижу сны — про то, что второй раз попал в лагерь. Это совсем не кошмары, нет, не кошмары. Снится, что у меня второй срок, причем — заканчивается второй срок. И мысль — как же я теперь во Францию попаду? И просыпаюсь не с чувством облегчения, а с иронической усмешкой, потому что после второго срока проделать все эти зигзаги — довольно странно.

— Да, еще раз такое почти невообразимо. Одной эмиграции на жизнь хватает. Вас ведь наверняка постоянно спрашивают: не думаете ли о возвращении в Россию?

— Во всяком случае, в видимом будущем я себе такой задачи не ставлю. Ведь я почему эмигрировал? По единственной причине: хотел остаться собою, Абрамом Терцем, продолжать писать. И мне сказали: не уедете, значит, поедете обратно в лагерь. Возвратиться в Россию... А зачем возвращаться? За материалом? Материала у меня хватает. Писать там? Вроде бы свобода слова, но уж очень зыбкая. Кроме того, я считаю, что писателю все равно, где его тело находится, ежели он продолжает работать. Потом я не уверен, что если окончательно вернусь в Россию, меня там радостно начнут печатать. Нет. В России ко мне достаточно плохо относятся.

На кладбище было телевидение, операторы проворно скакали через яму и командовали. Все встали полукругом, гроб ушел под землю, Марья Васильевна растерянно посмотрела вниз. Ее фигура в длинном широком плаще, на секунду замершая, выстроила мизансцену трагедии. Начались речи. Уверенно вперед вышли генералы. Генерал официальный — посол, и еще более официальный — знаменитый поэт.

— Андрей Донатович, вы враг любого канона, нарушитель иерархии, противник системы. А тут — смокинг, трехвековая традиция, ранжир. Как себя чувствуете в качестве лауреата?

— Я сравниваю контрастные ситуации в своей судьбе. Поэтому немножко смешно, но я, скорее, над собой смеюсь. И потом, я ведь враг не любого канона. Например, очень люблю фольклор — искусство каноническое. К тому же в Гарварде канон веселый. Это ритуал, но — игровой. Конечно, что-то меня стесняло, больше всего — смокинг, который я никогда в жизни не надевал, и это оказалось тяжелым испытанием. Я и галстуков-то не ношу.

Знаменитый поэт, давно освоивший похоронный жанр, привез горшок с землей с могилы Пастернака. Хочется думать, что земля набиралась из фикуса в посольстве — иначе пастернаковская могила должна напоминать карьер. Горшок опростался в яму, и тут Марья Васильевна, с ее синявским чутьем на пошлость, ощутила неладное, прервала речи, сказав, что покойный был человек антиторжественный и веселый, и надо скорее идти в дом — выпивать, закусывать и рассказывать анекдоты, которые он так любил.

За два дня до смерти, предельно изнуренный и уже окончательно побежденный раком, Синявский хохотал над анекдотом о «новых русских», только ему пришлось объяснять, что такое сотовый телефон.

Марья Васильевна спохватилась на кладбище поздно, что понятно: у нее впервые умирает муж, а генералы всегда привычно и споро выходят вперед — диссидент—не диссидент, порядок есть порядок. Гражданин начальник всегда ощущает себя главнее нарушителя закона.

— Андрей Донатович, я помню, как вы настаивали на том, что по характеру не авантюрист, но ведь превращение Синявского в Терца — авантюра, и отчаянная.

— Да, но это была настолько сильная страсть... Не просто ведь хотелось рискнуть. Я бы не рискнул стать, ну, например, грабителем или спекулянтom, мне это не интересно. А страсть писательства — другое дело. Хаксли где-то сказал, что с человеком случается чаще всего то, что на него похоже. Не потому, что он так хочет, а в силу судьбы и свойств характера, что ли. Вот и я не хотел таких поворотов, я не

авантюрист, а, напротив, — кабинетный и тихий, даже скучный человек. Но закрутилась судьба, стала давать неожиданные узоры, и, когда пройдешь эти узоры, они тебе самому начинают нравиться. Но сознательно их повторять — не следует.

— Любопытно, когда вы сейчас подыскивали сравнение — кем бы могли стать, то назвали не естественную авантюрную экзотику, вроде землепроходца, а грабителя и спекулянта. И псевдоним у вас — бандитский. И в «Мыслях врасплох» сказано, что даже чтение книг — это кража, про писание и говорить не приходится. Так что, в вас прочно сидит убеждение в том, что писательство — нечто по сути своей незаконное.

— Да. Конечно. В данном случае слово «вор» — метафора слова «художник». Я в принципе за разных писателей, но мне лично реалистически описывать жизнь — встал, чаю попил — неинтересно. Я лучше вовсе писать не буду. Писание в моем понимании — нарушение запретов.

— А у кого ворует писатель?

— В моем случае — у государства. Когда государство монополизировало не только идеологию, но и стиль, то писатель естественно идет на преступление, если он настоящий писатель.

— Но сейчас как быть? Вы не перестали заниматься своим делом, не изменили позиции, но на вас не покушается ни Франция, ни Соединенные Штаты, никто. У кого же теперь писатель ворует?

— У общества. Если взять судьбы западных художников, то это обычно — нарушение определенной традиции. Ну, что Джойс — не мог писать как принято?

— Еще как мог! По «Дублинцам» это хорошо видно — как он доводил до блеска приемы XIX века. Ничто не предвещало «Улисса».

— Ну вот. Писатель нового времени — всегда преступник. Всегда нарушитель обыденной нормы. Она ему просто надоедает.

— Да и сама идея записи своих мыслей, соображений — не очень-то естественна, правда?

— Это тоже ненормально. Вместо того, чтобы жить как все люди, писатель зачем-то пишет. То есть совершает выход из нормальной жизни.

— Получается, что ему мало той реальности, которая есть, он хочет свою создать. В конечном счете, ворует даже не у общества, а у самой жизни.

— Да, именно. Я помню, как мне чекисты говорили: «Лучше б ты человека убил». Да и в лагере не раз слышал от зэков, что любой писатель — сумасшедший, их всех сажать надо. Я говорю: «Как? Любого? И Достоевского?» Мне говорят: «И Достоевского». — «И Толстого?» — «И Толстого». Я спрашиваю: «Почему?» — «Да они жить мешают». Я сталкивался не раз с такой точкой зрения, и в каком-то смысле она понятна.

— Бродский как-то сказал, что, учитывая отношение общества к художнику, надо еще удивляться, почему он не грабит и не убивает.

— Согласен, согласен.

— Узоры судьбы писателя-преступника сложились в еще одну занятную картинку. С вами вместе почетным доктором Гарварда стал большой советский начальник, с которым вы были, мягко говоря, по разные стороны.

— Да, когда мы по ходу церемонии оказывались рядом, я думал об этом, потому что очень отчетливо ощущаю себя лагерником. Ситуация юмористическая, конечно. Фигуры оказались рядом несопоставимые, но для западного зрителя — почему бы и нет. Это чистый цирк.

— Но для вашей картины жизни — норма.

— Вообще — кто я такой? Я очень ценю звание и роль писателя, но не придаю этой роли слишком торжественного значения.

В доме на рю Борис Вильде, 8, шли поминки. Марья Васильевна, полгода бившаяся с болезнью, как с советской властью, заметно устала, но распорядилась по обыкновению — не то Екатерина, не то Екатерина Фурцева. С докладами и блюдами подходили близкие и приближенные. В саду были накрыты столы, гости усаживались на траву, один залез с бутылкой на дерево и громко требовал туда селедки. По-летнему грело солнце. Марья Васильевна говорила по телефону: «Спасибо, спасибо. Кто, вы говорите, дал номер? Эта сволочь?! Запомните: он —

один из убийц Синявского». В углу гостя объясняла человеку в черном костюме, что Монтень это не вино. Я рассматривал стеллажи, на которых лежали папки с надписями на корешках: «Выступления», «Кибиров», «Газеты-93», «Вагрич», «Мерзавцы».

— Андрей Донатович, если выступать перед большой аудиторией, какую тему вы бы избрали? И шире — о чем целесообразно, своевременно говорить?

— Я не моралист, не политик, для меня нет никаких целесообразных тем.

— То есть понятий целесообразности и актуальности в писательстве нет?

— Может быть, есть — во время войны, например, каких-то бедствий. Но опять-таки я не уверен, что писатель должен на актуальные темы откликаться, пускай лучше специалисты про это говорят — люди, которые занимаются вопросами войны и мира, переустройства земного шара. Я на такие высокие роли не претендую. Я всего только писатель — существо достаточно легкомысленное. Я бы говорил — не потому, что важно, а потому, что важно для меня лично, — о божественной стихии юмора и фантастики, которой окружены земля и небо.

Трудно, невозможно найти в нашей современной словесности другого автора, который бы с такой последовательностью и упорством доказывал тезис о несравненном творческом заряде русского народа и вытекающей отсюда его исторической уникальности — причем доказывал бы убедительно, потому что ярко и внятно. Тезис, разумеется, не монополизирован Синявским-Терцем, но между казенными патриотами и им гигантская разница — как между любовью невежественной и слепой и любовью талантливой и умной. Пафос такой любви особенно слышен в книге «Иван-дурак. Очерк русской народной веры», отличающейся от других сочинений Синявского почти демонстративным отказом от собственной художественности: автор отступает, как бы не осмеливаясь состязаться с образцами народного творчества, которые приводит в изобилии.

Само это творчество — источник исследовательской смелости, с какой Синявский сопрягает язычество и христианство. (Стоит вспомнить, что о своем любимом Василии Розанове он писал: «...Попеременно выступает то язычником, то христианином».) В слиянности старой и новой веры — цельность: святость, возведенная в степень. Это не имеет отношения к церковной догматике, зато прямое — к народной вере. Отсюда, из этого умножения святости, быть может, и встает тот образ Святой Руси, который Синявский полагает главным для всей русской традиции.

«Народ не только усваивает новую религию, но развивает и дополняет ее на свой лад и вкус (на собственный страх и риск). На этой — художественной — основе появляются удивительные и прекрасные цветы христианского и вместе с тем народного миросозерцания».

Народная вера, впитавшая черты язычества и принявшая за руководство Евангелие, получается, и самая интересная, и (потому) в известной степени самая верная.

Эстетические факторы изначально важны и для собственно русского христианства, православия. Синявский — из самых восторженных адептов предания о том, что эта религия выбрана за красоту, как рассказывается в «Повести временных лет». С эстетизмом неразрывно связана мистичность, которая «свойственна православию, может быть, больше, чем другим христианским религиям». При сакральной самозначности слова и незыблемости обряда иначе и быть не может: рациональное богоискательство не характерно для Руси, и из трех ипостасей Троицы важнейший — Дух Святой.

— Андрей Донатович, хотелось бы поговорить о вашем коллеге, получившем почетную степень в Гарварде в 78-м году, — о Солженицыне. Я перечитывал его тогдашнюю речь и обнаружил довольно много сходного с вашими соображениями, изложенными в «Голосе из хора» и в «Мыслях врасплох». Я говорю о похвале русской духовности в сравнении с западным рационализмом, протест против здешней установки на право в ущерб правде — то, что Солженицын в своей гарвардской речи назвал «юридическим мышлением», и энергично против этого возражал, и так далее. То есть некоторые важные мотивы у вас обоих

совпадают. При этом вы уже много лет воспринимаетесь основным оппонентом Солженицына, даже его антиподом.

— Отдельные взгляды у меня с Солженицыным действительно совпадают — что касается, например, духовности русского человека. Но существенно — что не совпадает: типы писателей. Я не говорю, кто лучше, кто хуже. Солженицын — вполне законная и прекрасная литературная фигура. Но по своему складу — он писатель-пророк, писатель-моралист. Мне такое чуждо — приехать на Запад и тут же начать его учить: Америка неправильно живет, надо жить по-другому, по телевизору улыбаются слишком часто, не надо улыбаться. Да и свой народ не стоит учить. Мне противно такое учительство. Я не люблю морализаторство позднего Толстого, Гоголя в его «Выбранных местах из переписки с друзьями».

— Но концептуальные совпадения все же несомненны. У вас в «Мыслях врасплох» написано: «Довольно твердить о человеке. Пора подумать о Боге» — вполне солженицынская фраза. Или вот рассуждение о краеугольном на Западе понятии свободы личности: «Никак не пойму, что за «свобода выбора», о которой столько толкует либеральная философия. Разве мы выбираем, кого нам любить, во что верить, чем болеть?» Все это в целом соответствует протесту Солженицына против «юридического мышления».

— Конечно, я тоже считаю, что человеческая совесть, или божественная благодать, или милость Божья — выше, чем человеческие законы, государственные установления. Выше, выше. Но в том-то и дело, что юридические нормы на высшие ценности и не претендуют. Они ведают практикой повседневной жизни, и жить удобнее, руководствуясь ими, а не верой, скажем, в доброго царя-батюшку. И при помощи юридических норм — например, свободы слова, свободы совести — человек может исповедовать высшие духовные ценности. А вот без этих норм — не может, к сожалению.

— Морализаторство вам всегда было чуждо?

— Да, в силу рабочей специфики. И когда я говорю о духовности, понятие это окрашивается у меня эмоционально.

— Ну да, у вас и пьянство возведено в поэтическое достоинство: «Не с нужды и не с горя пьет русский народ, а по извечной потребности в чудесном и чрезвычайном». Речь идет, как я понимаю, не столько о духовности, сколько о художественности природы русского человека.

— Да, пожалуй, скорее о художественности.

В «Иване-дураке» Синявский воздаст должное интеллектуальной и творческой смелости инакомыслия, выказывая заметно больше интереса к течениям, которые экстремальны — и оттого особо художественны. Из раскольников и сектантов с наибольшим воодушевлением представлены те, кто талантливее других. Можно сказать еще определеннее — кто лучше пишет: например, давний кумир автора протопоп Аввакум или блистающий дарованиями скопец Кондратий Селиванов.

Как важна для Синявского филология, в частности народная этимология! Он наслаждается каламбурами духоборцев: «Матфей — намотал, Марк — намарал, Лука — налукавил»; метафорами хлыстов: «Радение — это пиво духовное»; словотворчеством чутких к рифме скопцов: «Иуда не удавился на осине, а женился на Аксинье», «Искупитель — Оскопитель». Мировоззренческие концепции, вырастающие из созвучий, — это знакомо Синявскому-Терцу.

Дар для него — важнейший критерий, ибо таково земное проявление высших сил. Старообрядцы проиграли войну за бороду, но дали сдачи кличкой «скобленое рыло». Табак завоевал Русь, но хоть в утешение завоеванным осталась поговорка: «Кто курит табак, тот хуже собак». За раскольниками не было силы и закона, но была цельность, опиравшаяся на старину и традицию, что и позволило им выстаивать так долго. Традицию — в том числе и собственно творческую, фольклорную. Тем и дорого старообрядчество Синявскому.

Подозреваю, что его расположением ко мне, проявлявшимся за годы часто и трогательно, я отчасти обязан своему старообрядческому происхождению. Во всяком случае, Синявский много и подробно выпрашивал меня о судьбе и нравах моего материнского рода — русских раскольников, занесенных в Туркестан и Персию, прошедших войны и лагеря.

Он сидел в Мордовии вместе с адвентистами, преподавшими писателю урок писательского отношения к жизни. Они не признают загробной жизни, но верят

в воскресенье после Страшного Суда, а противоречие с евангельским канонотом устраняют с помощью грамматики, утверждая, что фраза Иисуса, сказанная разбойнику на кресте: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» — записана с ошибкой. Надо сдвинуть запятую: «Истинно говорю тебе ныне же, будешь со Мною в раю». Синявский в восторге: «Это не пустая схоластика. От одной буквы, от одной запятой, бывает, зависит решение посмертной судьбы человека, а иногда — толкование всей мировой истории».

— Андрей Донатович, я не хотел бы упускать тему художественности российского человека. Ведь вы положили много сил на доказательство этого тезиса — о мощном творческом импульсе, проявляющемся в русском народе столь многообразно. Сейчас в России — социальный слом. При всех минусах этого процесса — самое время для реализации творческих потенций.

— Нет ведь строгой закономерности: дать гласность — будет творчество. Процессы эти иррациональны, не вполне постижимы. Все сразу не станут поэтами.

— Почему обязательно поэтами? Бизнесменами, коммерсантами, например, — очень творческое занятие.

— Верно, но от меня это далеко. Мне гораздо ближе анекдот, который я недавно услышал, — вот где творческие возможности русского человека. На необитаемый остров попали француз, англичанин и русский. Поймали золотую рыбку, и, как положено, она каждому пообещала исполнение трех желаний. Француз потребовал сто миллионов франков, дом в Париже и немедленно — на родину. Англичанин — сто миллионов фунтов, дом в Лондоне и — на родину. Русский, оставшись один, спросил рыбку: «Ящик водки можешь?» Получил. Второе желание — второй ящик. А третье желание, сказал он: «Двух этих охламонов сейчас же вернуть обратно». Ситуация комическая, но и творческая.

— Главное, философическая.

— Философическая, конечно. Критически рассматриваются индивидуалистическое западное сознание, рационализм, материализм. А вот русский человек выступает бескорыстным коллективистом.

— Бердяев называл этот российский дар к общению коммюнитарностью. Переходя к высокому стилю, можно говорить и о соборности.

— Естественно, не просто ведь водка, но и компания. А кроме всего прочего, само появление этого анекдота свидетельствует о творческой потенции.

Поразительно, как закрепилось в сознании публики западничество Синявского. Видно, оттого что посылал рукописи на Запад, оттого что на Западе прожил четверть века. Между тем, поди найди большего патриота, русофила и почвенника. Или все дело в том, что патриотизм Синявского — просвещенный? Он даже о своей любимой народной сказке писал в терминах рыночной экономики: «Сказка явно и кровно заинтересована в наведении мостов. А это — говоря шире — означает, что она заинтересована в установлении всевозможных межзональных контактов — брачных союзов, торговых сделок, заграничных и потусторонних долгосрочных командировок. В ее волшебной технике первое место занимают средства связи и транспорта: то, что на современном языке можно обозначить такими понятиями, как: телефон, радио, телевизор, самолет».

Это отнюдь не упрощение и не модернизация, а часть общей концепции. Синявский помещал русскую традицию во всемирный контекст, при этом упрямо настаивая на ее самобытности, особенности и известных преимуществах.

Вообще, ему была чужда распространенная точка зрения на русского человека, сводящаяся к поговорке: «Неладно скроен, да крепко сшит». Как бы принято считать, что русский человек не проявляет себя внешне, а силен нутром, той самой духовностью, которая затерта до дыр, до полной невозможности произносить это слово, поскольку понятие третя с двух сторон — иронией и пафосом, где пафос разрушительнее, ибо пышный лозунг всегда раздражает и отталкивает. В общем, самосознание русского человека смотрит на себя, как на яблоко или помидор, про которые известно, что чем они неказистее, тем вкуснее.

Синявский же решительно противился такой концепции. Настаивал на внешней (не поступаясь внутренней) красоте русского народа, превосходящего иноземные, в частности, в изысканности фольклора, то есть как раз в формаль-

ных, стилевых категориях. Не глубиной морали высока русская сказка, а художеством!

— Андрей Донатович, фольклор, действительно, не зависит от социальных условий, вы об этом писали — и об анекдоте, и о блатной песне. Но вот что вы писали еще: «Я твержу, что свобода слова как раз писателям-то и не идет на благо, что от свободы писатель, случается, хиреет и вянет, как цветочек под слишком ярким солнцем». Как сказалась свобода слова на литературном процессе и на литературных достижениях?

— В иронических и парадоксальных фразах нет закономерности. Как вообще в творчестве. Гласность способствовала литературному процессу. Это главное. Хотя я понимаю, что препятствия иногда помогают создавать что-то интересное и настоящее, но никогда не стану на этом основании сторонником цензуры. На цензуре много трупов. Цензура — это смерть.

— Общество и его культура утратили телеологический характер. Много лет опорой — со знаком плюс или минус — был социалистический реализм, по вашим словам, «органичное явление для нашей литературы». Теперь этого нет.

— Я имел в виду не столько практику советской власти, сколько систему строгих идеологических и стилистических канонов. При всем своем критическом отношении к соцреализму я находил высокие образцы этого искусства. Откровенно говоря, я нашел один пример — это Маяковский. Нормы выветриваются, но с соцреализмом не покончено — не потому, что его догмы продолжают насаждаться, а потому, что общество не вполне демократично. Взять вещи, даже хорошие вещи, деревенщиков — они часто написаны по сходным правилам. Я бы даже высказал еще более крамольную мысль: ведь «Красное колесо» во многом следует канонам соцреализма, хотя автор совершенно не социалист. Но в основе лежит идея романа-эпопеи как ведущего жанра — это явления 30-х годов. Признается необходимость позитивной программы, положительного героя, которому подыгрывает автор, показывая, какой тот хороший и правильный. Ежели герои недостойны автора, то они обычно — негодяи. Либеральная интеллигенция у Солженицына — глупая и пошлая среда, никак не творческая. Из «Красного колеса» нельзя понять, как в России начала века могло развиваться такое великолепное искусство, если интеллигенция была сплошь дурачком, отравленным революционными идеями. Это — идеологическая сетка, которая накладывается на события. Для меня это — социалистический реализм. Я оттого и стал Абрамом Терцем, что так сильно не любил соцреализм. Даже когда воспитывают и учат очень правильно, как надо жить не по лжи, это становится неприятно.

— Хочется соврать?

— Примерно так.

Имени — или именам — Синявского-Терца больше, чем кому-либо, отечественная словесность обязана ощущением легкости и дерзости. Современный писатель — чувством разрешения от обязательной роли наставника народов и властителя дум. Современный читатель — освобождением от подхода к книге как учебнику жизни.

Вспомним, кто становился героем Синявского-Терца, когда он писал не свою свободную гротескную беллетристику, а литературу о литературе — тот причудливый жанр, который правильнее всего обозначить попросту его именем. Его герои — Пушкин, Гоголь, Розанов, фольклор. Свободные творцы.

Впрочем, писатель, по Синявскому, — не вполне самостоятельная творческая личность. Он — проявление и продолжение народной традиции. И чем больше ей соответствует, тем он состоятельнее.

По-терцевски ловко вписав концепцию в традицию, Синявский вывел формулу писателя.

«Дурак совершает все невпопад и не как все люди, вопреки здравому смыслу и элементарному пониманию практической жизни». Но именно «дурацкое поведение оказывается необходимым условием счастья — условием пришествия божественных или магических сил». Подобно мудрецу и философу, Дурак «тоже находится в этом состоянии восприимчивой пассивности» — потому что «Дурак, как никто другой, доверяет Высшей силе. Он ей — открыт».

Синявский идет дальше. Дурак показывает фокусы, веселя публику («выполняет весьма важную функцию!»), а через эту деятельность протягивается нить между Дураком и Вором: «Оба они фокусники. Вор — всегда. Дурак — иногда». Кража в сказке не носит негативной окраски — это имитация чуда. Или, по крайней мере, демонстрация высочайшего мастерства, проявление творческого потенциала — «не апофеоз безнравственности, но торжество эстетики».

А на скрещении Дурака и Вора возникает еще один образ — Шута, чья задача «превращать нормальную жизнь в клоунаду».

Итак, в качестве Дурака писатель является проводником высших сил. В качестве Вора — преступает установления и нарушает каноны. В качестве Шута — веселит и развлекает.

В этой сказочной цепочке нетрудно увидеть переключку с другим любимым героем Синявского-Терца. В «Прогулках с Пушкиным» тоже шла речь о «восприимчивой пассивности», которая по-терцевски вызывающе названа «пустотой», — что есть (на самом-то деле и чего не поняли все оскорбленные этой книгой) способность вмещать все и быть рупором божественного глагола.

Но Пушкин — предельный случай, высокий идеал. А в более знакомом, обычном варианте — это художник вообще. Синявский тут закодировал вора, насмешника и писателя Абрама Терца, то есть сам себя — как старый живописец внедрял свой портрет в толпу придворных, как в переплетениях ветвей на загадочной картинке обнаруживался вверх ногами недостающий пионер.

— Андрей Донатович, в вашем «Голосе из хора» записана чья-то фраза: «Жизнь — это трогательная комбинация». Замечательное выражение, подходящее к вашей жизни Синявского-Терца.

— Действительно, очень похоже. Знаете, как-то в лагере ко мне подошел простой мужик, зэк, увидел, что я мрачный, и, желая приободрить, говорит: «Ничего, писателю и умирать полезно!»

— Вот мы теперь какие, — сказала Марья Васильевна, и вслед за ней я стал спускаться по лестнице.

Синявский остался лежать, задрав бороду, в голубой полосатой рубашке, застегнутой под горло, в черной флибустьерской повязке Абрама Терца с черепом и костями на левом глазу. Проверял — полезно ли писателю умирать.